

Юрий НИКИТИН

НЕПРИДУМАННОЕ В ПОВЕСТИ «ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЙ»

От редакции: В 1979 году в № 12 «Волги» была опубликована повесть Юрия Никитина «Время возвращений». Нынешние заметки – своего рода ключ к ее документальной основе, написаны они, по словам автора, затем, «чтобы повесть не воспринималась как досужее сочинение». С нашей точки зрения, записки представляют интерес даже вне контекста повести.

1. Сейчас говорят и пишут, будто в день объявления войны люди испытали потрясение, будто всех охватило чувство великой беды, в моей же детской памяти запечатлелось совсем другое: никто не переживал, никто не испытывал никакого чувства страха, напротив, все были возбуждены и даже радостны. Все ходили и распевали: «броня крепка и танки наши быстры, пойдём мы завтра в яростный поход», «мы железным конём всех врагов разобьём», и разговоры были о том, что через пару месяцев наши будут в Берлине.

Мама была настолько уверена, что «железный конь» справится с врагами быстро, что уже после начала войны отправила единственного сыночка, который был для неё «светом в окошке» (мой отец умер, когда мне было два с половиной года) в ВОМС (Валуйская опытно-мелиоративная станция) под Сталинград. Мои родители часто там отдыхали, у меня сохранилась фотография, где братья Никитины с жёнами приезжали в ВОМС ещё в 1936 году и отдыхали с 22 июля по 12 августа (подпись на обратной стороне фото). Дядя Серёжа тоже несколько не сомневался, что быстрые наши танки скоро начнут кататься по улицам Берлина, и дал добро на приезд племянника. Он меня обожал и здорово баловал, а его жену тётю Катю я почему-то побаивался.

Однажды улицы опустели. Ни дяди Серёжи, ни его жены. Ночь. Незнакомая женщина варит на костре вареники с поздником и уговаривает меня не спать.

Утром эта женщина и старик с бородой посадили меня на арбу, доверху нагруженную сеном, и мы куда-то поехали. Я лежал на верху на сене, и мне это ужасно нравилось. Единственный раз я испугался, когда мы подъехали к какому-то оврагу, по дну которого текла маленькая речка, я подумал, что большая арба покатится по крутому склону, задавит лошадь, и я тоже свалюсь. Но они меня сняли сверху, старик вставил в задние колёса палку, чтоб они не вращались, и лошадь с арбой спокойно спустилась вниз. Возле речки я нашёл черепаху, всю остальную дорогу занимался только ею. Мы приехали на какую-то железнодорожную станцию, где я увидел маму. И там мы сели на поезд.

Но это был не совсем поезд с плацкартными вагонами или теплушками, это был военный эшелон из одних платформ. Когда поезд тронулся, то мне показалось, по степи движется длинная-длинная улица. По ней гуляли раненые – у кого рука на перевязи, кто на костылях, у того, кто сидел на автопокрышке и разговаривал с мамой, была забинтована голова. Видя, что я не выпускаю черепаху из рук, он сказал: чего ты с ней тютюшкаешься, положи вон в автопокрышку. Я сказал, что убежит. Он тогда положил на первую вторую покрышку, и тогда только я опустил туда черепаху.

Через какое-то время поезд вдруг стал давать длинные тревожные гудки и остановился.

– Воздух! Воздух! – прокатилось по платформам.

Я увидел высоко в небе самолёт.

Люди стали прыгать с платформ, отбегать в поле пшеницы и ложиться.

– Да не будет он бомбить, – сказал военный, который сидел возле нас. – Это немецкий разведчик. Это «рама».

Но всё-таки он спрыгнул на землю, взял меня, а потом помог и маме спрыгнуть. Мы отбежали не очень далеко, и легли среди низкорослых колосьев. Мне запомнился запах той горячей пыльной земли.

Когда немецкий самолёт улетел, паровоз загудел уже не длинными, а короткими гудками, и люди снова побежали к поезду. Потом я положил голову к маме на колени и уснул.

Наверное, это была уже ночь, темно, вокруг горит разбомблённая станция Лиски (почему запомнилось именно это название – Лиски – не знаю), мы с мамой бежим между длинными рядами вагонов, и я ору: черепаху забыли, черепаху забыли... Судьба этой черепахи меня интересовала всю жизнь.

Как мы добирались от горячей станции до дома – у меня ни малейшего представления.

Окровавленные шапки убитых бойцов, которые мама стирала и гирляндой развешивала на печке. Одно время она ходила в чёрной железнодорожной шинели и брезентовых башмаках на деревянной подошве. Жаль, что не вписалась в повесть американская помощь, когда маме от профсоюза дали для меня оранжевую рубашку из какой-то крепкой материи – хорошая рубашка, ботинки на толстой подошве – отличные ботинки, ещё помню банки со свиным салом.

2. Танковое кладбище находилось за железнодорожным мостом возле железнодорожных мастерских, туда свозили подбитые танки. Там я нашёл пистолет и нёс его, засунув руку с пистолетом в трусы; а парабеллум, который в повести, был найден под трибуной стадиона «Спартак», и в нём не было патронов. Ещё у меня был наган, в барабане тоже не было патронов, Борька Буров выкинул его в пруд; я потом лазил, но в тине не нашёл.

3. Народный артист РСФСР И.А. Слонов (1882 – 19 сентября 1945), которого после похорон воры откопали и сняли костюм, вообще раздели полностью. На другой день знаменитого артиста опять похоронили в хорошем костюме, но чтоб снова не выкопали, прилюдно порезали костюм бритвой. Об этом маме рассказала её подруга со времён Аткарска (фамилию забыл) – актриса театра Карла Маркса, играла какие-то комедийные роли.

4. Штурман Чиссов! Подполковник – это мой преподаватель штурманской подготовки в Ворошиловградском (Луганск) лётном училище (1955–1957 годы). Его бомбардировщик был сбит «мессером»; с нераскрывшимся парашютом Чиссов упал с высоты 7000 метров на склон заснеженного оврага (где-то на Кавказе). Солдаты кавалерийской части, которые видели воздушный бой, его откопали, чтобы похоронить, а он был живой, но без сознания. Сначала его доставили в санчасть, где он пришёл в сознание, потом в госпиталь, потом самолётом в Москву. У него были сломаны (вроде бы) нога и рёбра, но что я точно запомнил – это лопнувший мочевого пузырь. Чиссов был выше среднего роста, пипка носа какая-то квадратная, короткие тёмно-рыжие волосы с проседью – мелкими кудряшками. Иногда летал с нами-курсантами за пассажира на Як-18 по маршруту; другой бы после такого падения к самолёту не подошёл, а он – !!!

5. Самодельные маленькие взрывпакеты и баночку из-под вазелина под трамвай на Чернышевской клали я, Борис Кузенёв, Равиль и ещё кто-то. И затаивались в кустах возле аптеки. После взрыва и автоматной очереди, которую имитировали взрывпакетики, мы убегали по Храмовскому взвозу вниз, к Волге. А вот кто бросил дрожжи в сортир – может Хафиз? – не помню.

6. Особенно жалко то, что нынешние люди ничего не знают о футбольных матчах между командой «Пехота» и пленными немцами на стадионе «Спартак». Факт уникальный! Особенно в сравнении с матчем в Киеве в 1942 году между футболистами команды

«Динамо» и сборной немцев, после которого победившие «динамовцы» были расстреляны. Об этом событии был снят фильм «Матч смерти».

Команда «Пехота» – это курсанты пехотного училища, которое находилось (вроде бы) на 2-й Дачной. Во время войны по краям стадиона «Спартак» были окопы и траншеи. Управляющей была тётя Капа; перед матчами она выгоняла нас хворостиной и уводила с поля стадиона свою корову и коз, которые там паслись. Иногда мама посылала меня к ней за молоком.

7. Мы, окружная шантрапа с Дегтярки, чуть ли не с рассвета и до заката гоняли на стадионе тряпичный мяч, который делался из старого чулка, набитого морской травой. Подержать в руках и даже ударить ногой настоящий кожаный футбольный мяч мы могли тогда, когда «Пехота» и немцы начинали разминаться перед матчем. Поскольку сеток на воротах не было, то мяч постоянно улетал мимо вратаря, и мы гурьбой кидались за ним. Мяч был старым, с плешинами потёртой кожи, тёмно-серого цвета, и не идеально круглый, а с вздутиями, но всё-таки это был настоящий футбольный мяч. Однажды мне повезло: схватив его, я подбежал поближе к немецкому вратарю и ударил мяч ногой. Но поскольку босая нога моя была покрыта цыпками, то больно было ужасно, будто ударил по тяжёлому булыжнику.

8. Рядом со стадионом располагались корпуса железнодорожной больницы, бывшей в то время госпиталем. Почти всю трибуну занимали раненые бойцы и кое-кто из взрослых с Дегтярки, Очкина, Лягущёвки. Раненые шли кто с тростью, кто на костылях, кто с зафиксированной рукой, кто с забинтованной головой, кто с обгорелой кожей лица, безногих везли на сиденьях между велосипедных колёс. Меня особенно поражал боец, у которого из-под мочки уха через щеку к переносице была приращена заветренная полоска мяса, по тогдашним разговорам, так делали пластическую операцию по восстановлению носа. Все были в шлёпанцах и тёмно-серых застиранных халатах, из-под которых виднелись кальсоны с завязочками.

9. Пленные немцы жили в клубе железнодорожников имени Карла Либкнехта на 2-й Садовой улице. Они шли по аллеям Городского парка культуры и отдыха вольным, прогулочным шагом, а сзади них конвоир с автоматом ППШ за спиной.

Немцы занимали место возле трибуны, на траве. Их футболисты были в коротких, выше колен чёрных трусах, тёмно-зелёных майках, а на ногах брезентовые башмаки на деревянной подошве. У наших «пехотинцев» была красивая форма: белые с синими отложными воротничками футболки, длинные, ниже колен (в отличие от немцев) трусы, на ногах гетры со щитками и настоящие бутсы с шипами. Мы знали их не по именам, а по прозвищам: Грек, центральный нападающий Санька Дикой, Пушкин (потому что после его удара мяч летел как ядро из пушки) – потом я узнал, что это Василий Васильевич Андреев (впоследствии начальник саратовской тюрьмы), защитник Буйвол, были ещё Магуй, Толюля... Настоящие их фамилии знают в Музее саратовского футбола на стадионе «Локомотив», а фотография есть в музее МВД в Саратове.

10. Судья бегал по полю с сиплым велосипедным свистком. Если немцы побеждали, то после финального свистка кидались обниматься и целоваться, устраивали на поле кучумалу, ездили друг на друге верхом, кто-нибудь кругами бегал по полю и целовал мяч. К ним присоединялись их болельщики, фурыкали на губных гармошках и устраивали пляс. Они так всегда радовались, будто выигрывали войну, а не футбольную встречу. Ну а раненые, все эти покалеченные войной люди, вроде бы должны были кинуться на недавних врагов с кулаками и клюшками, ничего подобного – они свешивались над проходом под трибуну, где была раздевалка, и не ругали, а укоряли своих парней и советовали, как надо было играть.

11. На «Спартаке» проводились и матчи немцев с мадьярами, на которые раненые тоже приходили. Но игра эта им, по-моему, не очень нравилась. После первого гола или ещё почему-то футболисты начинали злиться, и игра переходила в настоящую потасовку. С поля уносили игрока то одной команды, то другой. Вероятно, пленные немцы винули

бывших союзников в плохой помощи на войне, а мадьяры не могли простить, что немцы втянули их в бесполезную драку против русских.

12. Сцена в повести, где Царёк торгует на стадионе папиросами «Беломор-Ява» и где раненные у него спрашивают: «А что такое Ява?», а он отвечает: «Это остров в Индийском океане, где самый хороший табак растёт». Это я ходил по трибуне и торговал этими папиросами, их привозил мой дед Иван Петрович – машинист паровоза; где он их брал – не знаю, сам он никогда не курил и водки не пил.

13. Калёный – настоящего имени не знаю; дом его с голубятней находился посередине 6-го Интернационального переулка. Шурик – высокий, худой, в зелёном кителе и нашивками ранений на рукаве. Красивую жену Калёного блондинку с толстой косой-коронай звали не Роза, как – не помню. Татуированный – я таких блатных с портретами Ленина или Сталина на груди и на спине видел, и разговоры о том, что таких не расстреливают, тоже слышал.

14. Академик, вице-президент ВАСХНИЛ, директор саратовского сельхозинститута Николай Максимович Тулайков присутствует в повести потому, что в следственном деле НКВД за 1937-й год он являлся руководителем «пятёрки» «врагов народа», вторым в «пятёрке» был – начальник ОблЗУ Саратовского края – Пётр Михайлович Никитин, старший брат моего отца. Отсюда я сделал вывод, что Тулайков и Никитин не могли не знать друга, и поскольку оба работали в сельском хозяйстве, то не мог Тулайков не приезжать в ВОМС – Валуйскую опытно-мелиоративную станцию. Оба были арестованы по одному и тому же делу и расстреляны.

В повести возвращается из ГУЛАГа отец мальчишки, на самом деле всё это я списывал с реального возвращения Ольги Ермолаевны, жены Петра Михайловича Никитина после восьми лет лагерей. Помню, поздним вечером, уже почти темно было, она постучалась к нам в окно, мама выглянула и впустила её. Все три дня, что Ольга Ермолаевна у нас жила, ставни не открывались, боялись соседей, боялись доноса, потому что политзаключённым запрещено было приближаться к большим городам ближе 105-го километра.

14. Пленные немцы копали на улицах траншеи для водопроводов, разбирали плоты на Волге, в оранжерее городского парка разводили цветы и рассаживали их в клумбы в парке. Оранжерея находилась рядом с нашим домом, почтовый адрес был: Саратов, Городской парк культуры и отдыха, дом 2. Немцы ремонтировали нашу школу – 2-я мужская РУЖД – бывший институт благородных девиц. Однажды я возился в куче песка возле оранжереи, один немец (а может, и не немец) подошёл и, достав из портмоне фотографию, показал мне – женщина и двое малышей, а потом показал мне круглую медаль. Она мне так понравилась, что я стал просить, чтобы он отдал её мне, а он сказал: хлеба, хлеба. Я побежал домой и сказал маме, что немец хочет отдать мне медаль за хлеб. Мама отрезала от буханки тоненький ломтик хлеба и дала мне. До сих пор помню, как мне было стыдно давать немцу такой маленький кусочек хлеба за такую красивую медаль. Но он мне её отдал. В тот же день я её потерял в этой куче песка и ужасно ревел.

15. В 1939 или 1940-м году – мы с мамой приехали в Сталинград к её сестре Нине; муж у неё лётчик на каком-то гражданском самолёте, разбился в туман на Урале; помню, как меня фотографировали: кот был ужасно тяжёлый, всё время выskalзывал из рук, и я его еле держал.

16. Прототипом Бурмагина (фамилия кого-то из Дегтярских) был аэроклубовский шофёр Самусик. Это у него в кабине полуторки была самолётная приборная доска, а из-под капота торчала «трубка Пито» – приёмник воздушного давления для указателя скорости. Инструктором по парашютному спорту был Егоров (в повести Волковец); помню, на аэродроме на Соколовой горе – это 12 мая 1951 года, я стоял в строю и ужасно боялся, что он меня выгонит за то, что я наврал, что мне семнадцать лет, тогда мне было полных только пятнадцать. Навсегда в память врезались его слова, когда он, долго разглядывая меня,

худосочного, сказал этак снисходительно: «Ну, ладно. Твой парашют вон тот – круглый. Потому что если ты прыгнешь на квадратном, то только к обеду приземлишься».

Не выдуман курсант Передреев (в аэроклубе эту фамилию долго помнили): по команде лётчика «Вылезай!» он перешагнул через борт первой кабины, дошёл до края крыла, после команды «Пошёл!» поглядел вниз и от страха – высота всё-таки 800 метров – вместо того, чтобы шагнуть, сел на крыло и вцепился в борт; лётчик бил его и по рукам и по башке, спихнул с трудом.

17. Не выдумана и тётка Фрося. Она тоже из 6-го Интернационального проулка. Я даже её имя не стал менять, а фамилии не знал. Какой-нибудь псевдопатриот оскорбится: не может такого быть, чтобы, дескать, русская женщина за 50 рублей не только покупала для работ по дому пленного немца, но занималась с ним любовью – это поклёп. Мы дразнили его – Фриц. Господи, да у меня просто мозгов бы не хватило выдумать всё это, тем более цифру 50 рублей.

Иной раз поневоле начинаешь верить в Провидение. Сейчас люди избавляются от книг, в нашем доме их выкладывают в вестибюле. Недавно я там увидел драную книжку – роман Ремарка «Время жить и время умирать». В былые годы я обожал его «Три товарища», «Триумфальная арка», «На западном фронте без перемен», а эта почему-то прошла мимо. Взял, естественно. И – обалдеть! – разговор в санпропускнике солдат, получивших двухнедельный отпуск с фронта.

Эрих Мария Ремарк, «Время жить и время умирать»:

«От тепла стало клонить ко сну. Гребер видел бледные тела своих спутников, их обмороженные ноги, багровые трещины шрамов. Они вдруг перестали быть солдатами. Их мундиры висели где-то в парильне; сейчас это были просто голые люди, они щелкали вшей, и разговоры пошли сразу же совсем другие. Уже не о войне: говорили о еде и о женищинах.

– У неё ребенок, – сказал один, его звали Бернгард.

Он сидел рядом с Гребером, у него были вши в бровях, и он ловил их с помощью карманного зеркала.

– Я два года дома не был, а ребенку четыре месяца. Она уверяет, будто четырнадцать и будто он от меня. Но моя мать написала мне, что от русского. Да и она меньше года, как стала писать о ребенке. А до того – никогда. Что вы на этот счет скажете?

– Что ж, бывает, – равнодушно, ответил какой-то человек с плешью. – В деревне много ребят народилось от военнопленных.

– Да? Но как же мне теперь быть?

– Я бы такую жену вышвырнул вон, – заявил другой, перебинтовывавший ноги. – Это свинство.

– Свинство? Почему же свинство? – Плешивый сделал протестующий жест. – Время теперь военное, это понимать надо.

– А ребенок-то кто? Мальчик или девочка?

– Мальчишка. Она пишет, будто вылитый я.

– Если мальчик, можешь его оставить, пригодится. В деревне всегда помощник нужен.

– Да ведь он же наполовину русский.

– Ну и что же? Русские-то ведь арийцы. А отечеству нужны солдаты.

Бернгард положил зеркальце на скамью.

– Не так это просто. Тебе-то легко говорить, не с тобой приключилось.

– А лучшие, если бы твоей сделал ребенка какой-нибудь откормленный племенной бык из немцев?

– Ну это уж, конечно, нет.

– Вот видишь.

– Могла бы, кажется, меня подождать, – смущённо сказал Бернгард вполголоса.

Плешивый пожал плечами.

– Кто ждёт, а кто и нет. Нельзя же требовать всего; если годами не бываешь дома!

– А ты женат?

– Бог миловал.

– Ну, а как же тогда ему быть с ребенком?

– Сдать, – сказала Мышь с особой авторитетностью. – Безболезненная смерть.

Что же ещё?

– А с женой?

– Это уж дело начальства. Поставят клеймо, голову обреют наголо, а потом – концлагерь, тюрьма или виселица.

– Её до сих пор не трогали, – сказал Бернгард.

– Вероятно, еще не знают.

– Знают. Моя мать сообщила куда следует.

– Значит, и начальство непутевое, расхлябанное. Люди разложились, значит, им и место в концлагере. Или на виселице.

– Ах, оставь ты меня в покое, – вдруг обозлился Бернгард и отвернулся.

Совпадения: у Ремарка: пленных за деньги давали для работ по хозяйству, у меня: тётка Фрося покупает Фрица за 50 рублей. Придумать подобное никак невозможно, а вот можно ли проверить – официальное на то было разрешение или всё делалось незаконно? И ещё: санпропускник, куда мы с мамой ходили выжаривать вшей, находился на Астраханской улице, рядом с Вшивым базарчиком.

Вот тоже достоверный факт из Первой мировой: один мой родственник был в плену в Германии, после репатриации вернулся, а где-то в начале 20-х к нему приехала немка, с которой он там жил. Не знаю, сколько прошло времени после его отъезда из Германии, но в России у него уже была жена. Поскольку они разговаривали по-немецки, никто не понимал о чём. Немка уехала, а её сундучок остался; ему сейчас уже больше ста лет – это раритет! В нём на даче мы храним детские игрушки.

18. И уж коль речь о войне, то вот ещё один раритет – 1912 года: коробка из тонкой жести размером 25х16,5х8,5 см; мама (она 1903 года рождения) говорила, что в ней были конфеты – леденцы. На крышке портрет Наполеона и надпись: «Наполеон I 1812–1912 г. В Память 100-летнего юбилея...» – дальше не разобрать, но и так понятно. На боковых стенках: спереди в овале – тройка лошадей, в санях Наполеон, адъютанты и подпись: «Бегство Наполеона», по бокам в овалах – пушки, ружья, барабаны, знамёна, на задней стороне: Наполеон верхом на белом коне на Поклонной горе ждёт ключей от Москвы.

На внутренней стороне крышки: что-то подобное двум медалям-печатам, на левой: «Поставщик двора его величеств. шаха персидск.», на правой: «фабричная марка утверждена правительством – реном» и ниже под печатами:

«Товарищество кондитерской фабрики “РЕНОМЭ” Москва»

Ну коробка и коробка 100-летней давности, что тут особенного? А то особенное, что на крышке грудь Наполеона пробита перочинным ножом! Это я, недоумок, ударил его ножом, поскольку он враг. Все мы тогда были, пожалуй, недоумками. В повести вернувшийся из ГУЛАГа отец мальчишки, увидев в учебнике истории замазанные чернилами лица Тухачевского, Блюхера, Якира, спрашивает: неужели в школе им велели это делать? Я, конечно, не помню, велели или не велели, но мы и сами знали, что это враги. Отчётливо сидит в памяти: я макаю ручку с пером «скелетик» в чернилку-непроливайку и выкалываю глаза этим «врагам народа».

И вот любопытная краеведческая информация: последним из оставшихся в живых французских офицеров (лейтенант-гусар) – признаётся Жан-Батист Николя Савен, умерший в 1896 году в Саратове. Он принимал участие во всех знаковых сражениях Наполеона, пленён под Березиной. Жил в Саратове, преподавал фехтование и французский

язык. Принял российское подданство, женился на купеческой дочери. В 1998 году в Саратов приезжал французский писатель Ив Готье, написавший о Савене книгу, а на установлении мемориальной плиты в его честь на углу Вольской и Дзержинского присутствовал посол Франции. Ещё один француз-садовник жил в Аткарске, он заложил знаменитый аткарский парк. А вот пруды в Парусиновой роще (нынешний Городской парк культуры и отдыха, где после университета я работал сначала дворником, потом художественным руководителем, потом два месяца директором) проектировал третий француз – великий математик Жан-Виктор Понселе.

К чему это я? Да вот к чему: ни в 1812, когда промокшего в ледяной Березине пленённого Савена казачий генерал Платов потчует водкой, ни в 1854 во время Крымской войны, когда во время перемирия русские и французские солдаты устраивали совместные перекуры, ни в 1914–1918, когда были случаи братания русских и немецких солдат, – не было ненависти, не было злобы, не было изощрённой жестокости. Солдаты, на мой взгляд, испытывали такие же чувства, какие испытывали в боях между собой римские гладиаторы. Представить братание или перекуры фашистов с коммунистами невозможно; идеология, политика, пропаганда, фанатичная вера развратили души воюющих.

19. 4 класс 2-й мужской школы РУЖД – 1947 год. Наверное, была традиция фотографироваться с классом, который учитель вёл с первого по четвёртый, и который, при переходе в пятый, считался выпускным. Наша учительница Мария Васильевна Ливанова привела нас в Городской парк культуры и отдыха имени Горького. Мы на центральной аллее: белое здание – музыкальная школа, правее – статуя Сталина, ещё правее было примитивное футбольное поле, сюда во время войны привезли сбитый над Саратовом немецкий бомбардировщик «Юнкерс»; мы в нём пытались что-нибудь найти, но он был пуст – один голый алюминий. Удивительно, но я помню фамилии многих одноклассников... Юрка Сластухин – у его отца не было обеих ног ниже колен, но ходил он в своих больших кожаных ботинках, надеваемых каблуками вперёд, энергично и довольно быстро, по слухам – он был каким-то директором. Вадька Рябоконь – я с ним дрался. Двоешник Архипов. Карпов – летал в Польше на ИЛ-28, в каком-то кабаке русские лётчики подрались с поляками, у него шрам от ножа через всю щёку. Мой друг Саша Невзоров – окончил физмат СГУ, работал над ракетами в секретной Балашихе под Москвой, присутствовал на полигоне при испытаниях, когда погиб маршал Неделин, Лёва Денисов – кинооператор на Саратовской киностудии.

20. 1953 год – 10 класс; учитель литературы, фронтовой разведчик Владимир Павлович Горелкин, которого мы обожали. Иногда он вёл урок будучи настолько навеселе, что не мог написать на доске «Тема урока»; писал мелом букву «Т», она ему почему-то не нравилась, он стирал её тряпкой, снова писал «Т», снова не нравилась, стирал, после нескольких безуспешных попыток говорил: Кудрявцев, иди напиши – Тема урока: Маяковский...

Подражание военным лётчикам

Однажды, это осень 1950 года, нас собрали в актовом зале школы. К нам вышел потрясающе красивый человек. Он покорила нас, ещё не сказав ни слова: это был военный лётчик с голубыми погонами капитана, вся грудь в орденах, и далее – зелёная гимнастёрка, фуражка с парчовым крабом, бриджи, хромовые сапоги... Блеск! Звали его Владимир Иванович Маркин. Он рассказал нам о воздушных боях с немцами, а он летал на штурмовике Ил-2, об атаках на танки, на железнодорожные составы, и в конце выступления сказал, что на войне погибло много лётчиков, что авиации нужны крепкие, смелые парни, и предложил записываться в аэроклуб. Полшколы, наверное, побежало записываться «в лётчики». Ну и я тоже, хотя мне было полных всего пятнадцать лет, а принимали с семнадцати. Я прибавил себе год. Никаких документов тогда не спрашивали. Самым сложным было пройти медицинскую комиссию, я прошёл, но меня записали не в лётчики,

а в парашютисты. 1951 – парашют, 1952 – планёр А-2, 1953 – самолёт УТ-2, где инструктором у меня был тот самый Маркин.

В Кустанайском лётном моим инструктором на Як-18 был фронтовик капитан Алентьев, а вот фамилию командира звена я не запомнил, запомнил только его рассказы о том, как он учил летать на реактивных МиГ-15 северных корейцев. Они, говорил, так рвались в бой, что, едва научившись держаться в воздухе, самовольно улетали на фронт. Ну и американцы щёлкали их там, как воробьёв. Зато учились ребята, говорил, очень усердно: вечером, когда все занятия уже закончились, пацан-кореец садился на табурет, обыкновенный веник помещал между колен, как бы ручку управления самолётом, и, гудя ртом, начинал воображать воздушный бой, делая виражи, боевые развороты, иммельманы-ранверсманы, иногда так увлекался, что, делая «мёртвую петлю», падал с табурета на спину.

Не знаю, как кто, а я завидовал Юре Бурлакову, у которого инструктором был младший лейтенант Смола. Когда-то он был капитаном, но его дважды понижали в звании за воздушное хулиганство. Бурлаков с восторгом рассказывал, как при полёте по маршруту Смола брал у него управление, снижался и шёл на бреющем над каким-то степным озером, поднимая тучу диких уток. За войну он, видимо, не налетался на свободные охоты, рановато она для него кончилась. А до младшего лейтенанта его понизили за атаку на УАЗик: увидя машину, пылящую по степи, он снизился до бреющего и пошёл ей лоб в лоб, а в ней ехал председатель Кустанайского облисполкома; его шофёр не выдержал лобовой атаки, свалил машину в кювет, ну и большой начальник сломал ключицу. Не повезло Смоле в том, что сообразительный чиновник успел записать время и бортовой номер самолёта. Ну и его вычислили. После чего офицерский суд чести и – младший лейтенант.

Когда мы приехали в 1955 в Ворошиловградское (Луганск) лётное училище, то первый год опять пришлось летать на Як-18, только с носовым колесом, как переходный к реактивному истребителю. Налёт у нас уже был приличный, у меня на планёре третий спортивный разряд, на УТ-2 – третий спортивный, в Кустанае опять тот же самый Як-18.

Тот же Як, те же самые полёты и те же фигуры пилотажа. В воздухе, конечно, никогда не скучно, однако хочется чего-то остренького, как в настоящем воздушном бою. Кто не мечтал пролететь под мостом, как Чкалов? Нет таких. А попробуй пролети – так тебе дадут такого пенделя, что улетишь далеко-далеко от авиации. Или такая дурацкая мысль приходила: пролететь над домом девчонки, в которую был по уши влюблён. Первую нестандартную фигуру пилотажа, что я решил испытать, так это не обычное сваливание в штопор. Обычно – это когда педаль даёшь влево и ручку на себя влево, после чего самолёт сваливается в штопор. А что если дать педаль влево, а ручку на себя вправо? Попробовал. Класс! Сначала Як не понимает, что делать, начинает качаться влево-вправо, влево-вправо, а потом срывается в штопор как бы через голову. Оч-чень интересное ощущение! Правда, брюхо у него забрызгивалось маслом, это обнаружил механик, и чтобы он меня не продал, я лез под брюхо с бензиновой тряпкой.

Когда кувyraешься в воздухе – это всегда здорово, а вот полтора-два часа полёты по маршруту навевают скуку. Кое-кто из ребят ловил по рации «Маяк» и слушал джаз, а кое-кто летал по-истребительски, как младший лейтенант Смола. Например, Юрка Бурлаков. Перед полётом по маршруту он договаривался с тем, кто летит следом за ним: я, дескать, после вылета держу маленькую скорость, ты меня догоняешь, пристраиваешься, и мы парой переходим на бреющий. К слову: Бурлаков демобилизовался в звании майора, летал в ГДР, в Египте при войне с Израилем, два ордена Красной Звезды. Другой наш аэроклубовец Иван Титков – тоже майор – в Ираке обучал летать на сверхзвуковых МиГ-23 арабов из Президентского полка... Но кто из молодых не чувствовал себя оперившимся ястребом и не мечтал о полёте на такую же свободную охоту, какая велась истребителями во время войны!? Не знаю, правда или нет, но среди нас ходил слух, будто на штурмовиках Ил-2 лётчики пролетали над колонной немецкой пехоты настолько низко, что в масляных радиаторах привозили головы фашистов. Байки? Не знаю. Но мы верили и хотели летать так же.

Хулиганский полёт по маршруту у меня был один. Штурманом Гена Федосеев. Сначала я набрал нужную высоту и пролетел минут пять, чтобы «шпион» – так мы называли записывающий высоту полёта барограф – нацарапал на картушке нужную высоту. Потом Федосеев достал из бардачка «шпиона», выключил его и сказал, что можно начинать свободную охоту. Я спикировал к реке Северский Донец и пошёл на водой; правый берег у реки высокий, и люди, стоящие там, смотрели на нас сверху вниз. Увидев рыбака, сидящего в примитивной лодчонке, я заскользил в его сторону, желая попугать, но он поднял весло над головой, и я сам шарахнулся от него вверх – пропеллер-то деревянный, мало ли чего; потом шёл над полем пшеницы и заставил лечь мужика с мешком, который шёл по дороге; на окраине посёлка Красный Луч сделал вираж над церковью; пролетел вдоль улицы какой-то деревни... Когда пришло время возвращаться, я понял, что потерял пространственную ориентировку: компас компасом, а мне казалось, что на аэродром надо лететь влево, а Федосеев настаивал: нет, надо вправо, – и штурман оказался прав. У Чкалова тоже был случай, когда он потерял ориентировку, и чтобы понять, где находится, он снизился до бредущего над железнодорожной станцией, прочёл на здании вокзала её название и таким образом сориентировался.

Наверное, и при следующем полёте мы с Генкой покуролесили, но меня посадили на гауптвахту. На десять суток. За что? Ладно уж: за несвоевременное любовное похождение.

Но на воздушном хулиганстве попался не я, а Зайцев. Он из другой лётной группы. Он и Славка Дагаев за штурмана «свободно охотились» где-то возле Краснодона, увидели марширующий пионерский отряд – красные галстуки, барабаны, горны – видимо, ребята шли к памятнику героям-краснодонцам. Зайцев снизился до бредущего, решив порадовать пацанов низко летящим самолётом, и пролетел рядом с отрядом на бредущем. Пионеры от восторга ходили на головах. Но при втором пролёте ни Зайцев, ни Дагаев не заметили линии проводов и врезались в них... – точнее, не в них, а под ними провода прошли по кабине Яка: оторвали крышку масляного бака, срезали антенну, из-за чего исчезла связь с землёй, киль тоже был срезан до фюзеляжа, руль высоты заклинило в положении набор, за хвостом мотались обрывки перкали. Ну а на земле – оборванные провода и семь поваленных столбов. В общем самолёт выглядел так, будто возвращался на аэродром после тяжелейшего воздушного боя. И вот эту полуразвалившуюся машину Зайцев привёл на аэродром. С первого захода сесть не смог. Майор – руководитель полётов, увидев столь плачевный вид Яка, приказал инструктору, летающему по кругу, догнать, пристроиться и показать, чтоб они набрали высоту и выпрыгивали с парашютом. Не хватало ещё, чтоб они разбились при посадке. Но Зайцев помахал рукой: нет, буду садиться. Вторая попытка тоже была неудачной: едва он убирал газ, самолёт клевал носом в землю. Посадить непослушную машину он смог только с третьего захода, и посадка эта была просто мастерской.

Ну и что? Суд в Доме офицеров на Острой Могиле. Мы, я и Гешка Минаев, ходили «с шапкой» по казарме, собирая деньги на адвоката; память мне не изменяет – фамилия его Гимпфель. Сколько-то набрали, отдали перед началом суда, но выступал он, в нашем понимании, отвратительно: мямлил что-то про бедность, про безотцовщину, про одинокую мать, про военное голодное детство... А мы считали, что надо говорить о геройской смелости: да, нарушили полётное задание, но не испугались и не выпрыгнули с парашютами из этой развалюхи! Надо было сказать, что во время войны его бы наградили, а вместо того, чтобы взывать к жалости судей, лучше бы адвокат спел песню американских лётчиков, которую мы сами любили напевать:

Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы летим на последнем крыле,
Бак пробит, хвост горит, но машина летит
На честном слове и на одном крыле.

Несмотря на то что ко времени суда самолёт уже был восстановлен, Зайцеву дали пять лет тюрьмы, а Славку Дагаева отправили в солдаты.

В период всей этой судебной заварушки лейтенант Саранча сказал: в нашей группе я не доверяю Никитину и Федосееву. После гауптвахты у меня оставался ещё один полёт по маршруту, и на предполётной подготовке Саранча вдруг назначает ко мне штурманом не Васю Дубового, не Горина, а именно Федосеева. Это было очень подозрительно.

Конечно же, я летел, выдерживая высоту, курс, скорость – ну такой прям дисциплинированный, аж тошно. А от Генки то и дело слышал в наушниках: ну всё, далеко уже ушли, давай вниз, нас никто не увидит, скучно же, ну что, выключаю «шпиона»? Я ему отвечал: да боюсь я, Гена, боюсь, ведь сказали же, что на линию маршрута выслали какую-то машину с радиостанцией. Минут через сорок этого унылого полёта услышал свой позывной: 42-й, обозначьте себя! Я стал кидать машину, заваливая влево-вправо с глубокими кренами, решив, что нас запрашивают с высланной радиостанции. Федосеев, пытаясь разглядеть, кто нас с земли запрашивает, вдруг говорит: это не с радиостанции, это кто-то за нами следит. Я тоже посмотрел назад и вниз и увидел висящий у нас за хвостом Як. Быть не пойманными – потрясающая радость. Весь остальной полёт стал не унылым и скучным, а даже весёлым, потому что они следили за нами, а мы следили за ними. Подлетая к аэродрому, шпионящий Як обогнал нас и сел раньше. Когда мы после приземления вылезли из самолёта, лейтенант Саранча подошёл и спросил: Ну как полёт? – а я с ехидной улыбкой: Товарищ лейтенант, вы ж за нами летели и всё видели. – Он чертыхнулся: Я ж говорил майору, что надо подальше вас отпустить, говорил, что если вы вдруг сделаете переворот, то протараните нас лоб в лоб.

На реактивном МиГ-15 вольничать в воздухе стало уже опасно. Я это осознал после того, как возле деревни Круглое едва не «сыграл в ящик». Это был обычный полёт на пилотаж – виражи, петли, «бочки», перевороты, – я увлёкся, забыл о времени, поэтому с КП меня поторопили: мой позывной и «ваше время вышло, возвращайтесь на точку». Высоты было полторы тысячи, стрелка радиокompаса показывала 180 градусов, то есть аэродром у меня был за спиной. Я сделал переворот, а когда начал пикировать, то решил, что высоты достаточно для нисходящей «бочки». И когда выполнил её, вспомнилось наставление из НПП (Наставление по производству полётов, «написанное кровью погибших лётчиков»): при высоте 1200 метров, скорости 700 км/час, угле 80-90 градусов самолёт не успевает выйти из пикирования. О том, чтоб спастись катапультированием, мысли не было. Я сообразил выпустить воздушные тормоза и стал выводиться из пикирования. Через лобовое стекло я видел круглое озеро, в которое падал, и видел, как вырастают крыши животноводческих ферм на краю озера. От огромной перегрузки перед глазами замелькали чёрные мушки, потом сплошная темнота – ни приборов, ни земли, ничего... Сознание вернулось, когда самолёт уже шёл вверх и прибор показывал 400 метров... Выровняв полёт, я почувствовал, как правая нога от запоздалого страха выбивает чечётку по дюралевому полу кабины. После вот этого приключения я подумал, что Бог, наверное, всё-таки есть.

После окончания училища и присвоения офицерского звания мы получили назначение в 66-ой истребительский авиационный полк Бакинского военного округа, которым командовал Герой Советского Союза Серафим Павлович Субботин. Он получил это звание за семь сбитых в Корее «Сейбров» и два бомбардировщика В-29. Полк наш располагался возле посёлка Джебел в Туркмении, где на сотни километров вокруг одни барханы пустыни Кара-Кум, пересохшее русло реки Узбой, заросли саксаула, где водились шакалы, в самом посёлке ослы и верблюды, а в единственном магазине из спиртного только вишнёвый ликёр. Мне запомнились два его рассказа о воздушных боях с американцами. Один – когда он во время атаки чуть не врезался в бомбардировщик В-52, проскочив буквально в метрах у него под брюхом, второй... Описание второго я нашёл в Интернете, где авторы красочно расписывают этот бой как первый в мире таран на реактивном истребителе: тут и бой 8 русских с 16-ю американскими истребителями, и «Сейбр», взорвавшийся в воздухе, и «выручка ведомого», и повреждённый двигатель (?), и

«подставил свой истребитель под удар» «пусть ценой своей жизни», и «оба самолёта рухнули в джунгли»... Но есть ли в Северной Корее джунгли? И таран – это когда ты бьёшь вражеский самолёт, а не когда он тебя таранит в хвостовое оперение. Я понимаю, все эти красоты нужны были авторам для пущей героичности, но для просто лётчиков всё это сомнительно.

А вот каким мне запомнился рассказ самого Субботина в классе предполётной подготовки бесснежной каракумской зимой 1958 года: в это время участие наших лётчиков в войне в Корее было засекречено. После какого-то патрулирования или воздушного боя он уже подходил к аэродрому, когда с КП ему сообщили, что к нему в хвост заходит «Сейбр». Субботин увидел его в перископ: американец был настолько близко, что оставалась пара секунд, чтобы он начал стрелять. Субботин нажал кнопку воздушных тормозов, на миг выпустил и убрал посадочные щитки, от чего его МиГ-15 почти замер в воздухе, ну и «Сейбр» проскочил мимо; вот тогда по нему отстрелялись пушки МиГа; американец упал где-то на границе аэродрома. Уже из Интернета я узнал имя погибшего – капитан Уильям Д. Кроун.

Пустыня у нас была недолгой. Уже на следующий год полк перебросили под Баку...

При прохождении очередной медицинской комиссии у меня нашли нелады со здоровьем и списали. Оставаться в армии нелетающим я не захотел, и был уволен в запас. В университет на филфак поступал в полной уверенности, что там всех учат писать стихи и прозу, а мне это только и надо было: я намеревался в своих рассказах и повестях прославлять небо и профессию лётчика. В приёмной комиссии у меня потребовали «характеристику с места работы». Написал челобитную в полк, не надеясь, что она будет уж очень-то положительной – уже будучи офицером, ещё два раза сидел на гауптвахте. Подписал её командир эскадрильи гвардии майор Ковалёв. И целая страница панегирических оценок: «...Лётную практику усваивал хорошо, летал смело и уверенно... Показал себя грамотным и дисциплинированным офицером... Делу Коммунистической партии и Социалистической Родине предан». Портрет, заслуживающий кисти народных художников Глазунова или Шилова.

Да-с, ну как такого парня не принять на девичий факультет?!

Единственное тёмное пятнышко на моём парадном мундире было таким: «Имел место случай нарушения полётного задания, за что был наказан, и подобных случаев не повторялось». Под этим скромно названным «нарушением» Ковалёв имел, видимо, моё пересечение государственной границы с Ираном...

В летнее время полк наш был перебазирован с Апшерона под городок Аджикабул, это в 50 километрах от иранской границы. У меня было полётное задание набрать потолок – для МиГ-17 это 15500 метров. Набирать эту высоту я должен был с курсом 0, то есть лететь строго на север, где сплошная советская территория; но после взлёта руководитель полётов вдруг даёт мне другую зону, и в любимом пятом океане вместо севера я пошёл на юго-запад, забыв напрочь, что внизу на земле есть какие-то там государственные границы, следовые полосы, колючая проволока, овчарки, пограничники и, бляха-муха, никто никому ни пяди. Цель у меня была одна – в яркой солнечной стратосфере добраться до потолка. Когда до него оставалось всего полтора километра, я услышал в наушниках: «672-й, доложите курс». Бросаю взгляд на компас, докладываю: «Курс 100». Через короткое время опять запрос: «672-й, доложите курс». – «Курс 90». – «Прекращайте задание, возвращайтесь на точку». Вот тут в душе появился какой-то холодок: чего вдруг? война что ли началась?.. И только после посадки узнал, что залетел в Иран. Руководитель полётов показал планшет, где локаторщики красным карандашом на карте вычертили весь мой полёт: от границ аэродрома над Курунградской низменностью к Кавказским хребтам, пересечение пограничной реки Аракс, полёт над территорией Ирана и возвращение на аэродром.

– Молись Богу, чтоб не было ноты. Иначе нам несдобровать, – сказал руководитель полётов.

Ну а лётчики даже посмеивались:

– Никита, хотел удрать к шахине Сорейе?

Локаторы с той стороны наверняка засекли, что советский истребитель углубился на иранскую территорию на двадцать пять километров и пробыл там три минуты. Однако нота не пришла. По нашим соображениям, потому, что где-то меньше месяца назад, возвращаясь после встречи с Хрущёвым из Москвы, шах-ин-шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и его жена красавица шахиня Сорейя приземлились на военном аэродроме в Насосной; гостеприимный секретарь ЦК Азербайджана показал высоким гостям роскошный город Баку, были, естественно, концерты и чаепития... Мог ли шах-ин-шах после роскошных приёмов в Москве и Баку поднимать дипломатическую шумиху по поводу нарушения границы каким-то салагой-лейтенантом? С его стороны это было бы даже как-то неприлично.

Не только в авиации, но вообще в армии многое было засекречено. Плакаты гласили: «Болтун, шептун – находка для шпиона». Всякое писание должно быть правильным – таким, как в Уставе! Мне жаль, например, что очень хороший писатель Иван Шульпин, служивший в погранвойсках в Азербайджане, не написал рассказ о наземном нарушении границы, в чём-то похожем на моё воздушное.

Их погранзаства находилась на берегу реки Астара, по другую сторону – Иран. Так вот к майору – начальнику заставы – жена приехала с новорожденным малышом, которого надо было кормить молоком, и он купил корову. Паслась она возле берега, где была хорошая трава. Однажды кол, к которому она была привязана, выдернулся, и корова перешла на другой берег, где трава была ещё лучше. Увидевший это солдат доложил начальнику заставы: ваша корова, дескать, нарушила государственную границу. Майор подошёл к речке, снял сапоги, засучил штанины галифе, перешёл мелководную речку, взял корову за верёвку и вернул из заграницы. И только он обулся, с той стороны появляются два иранских пограничника. Один снимает с плеча автомат, прикладывает его к плечу и, шутки ради, целится в майора: я, мол, имел полное право тебя застрелить. Русский офицер, буквально взбешённый таким поведением солдат, быстро скидывает сапоги, переходит речку и начинает орать, размахивая у них перед носами кулаком. Оба иранца стояли перед нашим босоногим офицером, вытянувшись в струнку...

Никакой ноты по дипломатической линии по поводу пограничного инцидента, как и у меня, не было, однако кто-то из своих нафискалил «наверх», и майора с женой, ребёнком и коровой куда-то убрали с пограничной заставы.

У Ивана Шульпина этот великолепный житейский факт из-за страха, думаю, перед цензурой не стал, к сожалению, достоянием его литературной прозы. У меня же из-за неспособности выдумывать, фантазировать, все факты из жизни перекочевали в книги. Это рассказы в первой моей книге «Цвет неба», это правдивый рассказ о детстве во «Времени возвращений», это авиация в «Голубом карантине», опубликованном в «Новом мире», это роман «И бог и подданный»... Жизнь даёт писателю массу интересных фактов, нужно только их увидеть глазами художника.